

Ночное убийство бенгальских слонов

... Открываю. Глаза. За окном еще ободряющая темнота. Значит, можно еще немного подремать. Не могу понять. Сколько сейчас времени. Очки оставил на столе. Но не помню, как это делал. Снова этот дурацкий эффект рыбы фугу. Когда о содеянном не помнит мозг. Ни в башке. Ни в спине. Ни в костях. Диалектически и не было.

Светильник на стене горит. Забыл выключить. Хотя часто остаюсь при нем. Так мне уютнее. Приятный желтоватый покров на всем.

Мама ходит в своеобразной кухонной части, где стоит стол, и холодильник, и шкафчики с посудой и иной едой. Что-то, наверное, готовит. Гремит тарелками. Возможно что-то вкусное.

А где сестра? Возможно, гостит у подруг.

А что сейчас? Поздний вечер сегодня? Или раннее утро завтра?

Лучше бы первое. В таком случае мне удастся еще что-то успеть. Может быть, смогу даже что-то еще написать. Дополнить свой застойный долгострой.

Встаю. Ощущение внутри какое-то приятное. Домашнее. Как в детстве. Вечер выходных накануне школы. Предчувствие значимой будущности.

Смотрю в окно. Темно там. И поражаюсь – снега навалило... летом. Очень странно. Оборачиваюсь к маме. Но её как будто бы и не удивляют сугробы. Она вообще какая-то сегодня молчаливая и сосредоточенная. Снова смотрю в окно. Снег доходит до самого девятого этажа. Не видно даже тополей, которые всегда маячили за стеклом. А как теперь быть? Как выходить на улицу? Ведь только ступишь на снег, сразу же провалишься. Снегоступы. Но где их взять?

Беспомощно снова взглядываю на маму. Она всё возится с чем-то у стола.

А как же люди в доме? Которым засыпало весь обзор. Как же им спастись? А как выйти из дома теперь? Только через эти, наши окна. Но снова же – можно провалиться и уже не выбраться. Задохнуться в снегу страшно.

Как такое могло произойти?

Луна светит. Красиво озаряет снежные сугробы. Как в гоголевских сказках. Маслянистый желтый свет. Как от светильника моего на стене.

Но вдруг ровные белые просторы нарушаются чем-то. В них что-то движется.

Над снежной поверхностью возникают головы бенгальских слонов. Огромных, страшных чудовищ, размерами с целый дом.

Я вижу их вздымающиеся, напрягшиеся хоботы. Они трубят в них. От этих существ исходит мощь. Сила. Ужасающая, кошмарная. Они разъярены. Они торят себе дорогу, пробивают громадными толстыми лбами путь в толстых снежных пластах. Я вижу пока только одного. Но в поле моего зрения возникает второй. Вдали третий. Они оглашают округу своим озлобленным ревом.

Они зло. Они представляют собой зло, о котором пишут в книгах. Это уже не Воланд. Это даже не Сатана, в чаду и огне, среди змей и грешников. А чистая, первородная сущность, несущая только смерть и разрушение. Овеществлённый танатос.

Я в ступоре стою у окна. С округлившимися глазами. Мне страшно. Страшно шевельнуться. Три слоновьи громадины бродят под окнами. Голосят. Бурят снег. Проходят мимо моего окна, мимо моего обзора, точно путники-пилигримы, несущие злую весть.

Мне так страшно, что кричать хочется. От отчаяния. От непонимания.

За слонами тянется расчищенная полоса.

Я слышу взрыв. А за ним над самым близким ко мне слонем взвиваются разноцветные искры. И слон начинает реветь от боли. Вскидывает голову, закатывает глаза, встает на дыбы.

Я смотрю в ту сторону, откуда был выстрел, и вижу огромную цирковую пушку – она вся разрисована синими звездами.

Следует еще один залп. И обрывается его полет на спине второго слона. Ему тоже больно, как и первому, самому близкому ко мне.

Выстрелы следуют один за другим. Паузы между ними все короче.

Заряды засыпают бедных слонов. Они вопят от боли. Уже *им* страшно. Повсюду зеленые и розовые огненные брызги. Они их жалят. Пекут. Царапают.

Меня пронзает жалость к этим существам раздора. Которые, наверное, и не несут опасности... я ошибался. Я хочу защитить их. Мне жаль их. Я хочу остановить их мучения. Хочу прекратить пытку выстрелами по ним.

А слоны всё кричат. Кричат. Дёргаются из стороны в сторону. Они напуганы. Дезориентированы. Путь их ограничен... впереди только глухой массив снега. А сзади – пушки... которые лупят по ним без остановки...

А слоны кричат. От боли. Ужаса. Им некуда деться. Их застали врасплох. Откуда они? Почему их хотят уничтожить... неужели они действительно несут разрушение...

... как пелевинские злые, *цукербринные*, птички.

Абсолютное зло. Ведомое только детям.

И учиняемое только ими. Без смысла. Выгоды... я всё ещё немного во сне. Из меня лезет свифтовская претенциозность человеконенавистничества.

Порой так грустно становится. Без причины. А просто оттого, что даже и причины нет, вообще ничего нет. Вакуум странный вокруг. Ни входа, ни выхода. Ловушка. Из которой уже не выбраться. Точнее, выход... он точно есть. Так учит ... даже и не знаю, что уж этому учит. Но выход есть всегда. По крайней мере, так говорят все суицидники, которым удача не улыбнулась, и они выжили... Но у меня не хватает фантазии выдумать такую страну, где бы у меня, какого-то придуманного персонажа, был выход. Этакая сказка про Пёсю. Которого все усиленно ищут. Считаю его панацеей от всех бед. Но мне же этого Пёсю не суждено, надо полагать, найти.

Выход есть. Но оттого ещё хуже и угрюмей. Ведь получается, что лишь для меня нет этого выхода. Или же попытаться трансгрессивно выйти за грань своего бытийного представления. Прыгнуть вниз. С моста. Из окна выпрыгнуть. И увидеть этот всегда прятанный от меня путь. Но в тот момент я могу быть счастливым, чей начин удался – и я разобьюсь. И тогда этот открывшийся путь достанется кому-то другому.

Порой так грустно становится. Так пусто вокруг. И пустота сосёт – даже и не глаза, как в поэзии имажинистов – а всё тело. Всасывает, как чёрная дыра. Рвёт все ткани. Пускает кровь. Кишки вываливает непотребной копной.

Встаёшь с тяжёлой головой. И тяжёлым предчувствием. Запутанный. В словах. В событиях.

Кажется, что тону. Вода попадает в уши. Глушит меня. Давит на голову. Пытается прорваться в череп и затопить мозг. Вода лезет в нос – и больно в переносице. Я захлёбываюсь своим днём. Таким длинным. Таким безыдейным, бесполезным. Беспольным скоплением минут, секунд, ощущений становится вся жизнь. Где есть Кафка, Джойс, Берроуз, Уэлш, Уайльд. А меня уже не остаётся. Во всём этом массиве просто нет места для такой невзрачной убогости, как я. Без имени. Образа. Склада мышления, своего. А не скопированного с какой-то модели из их многочисленных наборов, которые мне ведомы.

Я смотрю на внутреннюю сторону своих век. Они чёрные. Или мне так только кажется. Моментами вспыхивает огонёк, чьего цвета я не различаю. А потом он гаснет. Наступает снова темнота. А затем снова покажется что-то...

Я понимаю, что уже не сплю. Но порой это осознание приходит снова и снова. И с каждым новым этим осознанием я понимаю еще и то, что прошлая моя уверенность в том, что я не сплю, – была заблуждением, и на самом деле я дремал.

Открываю глаза. Внезапно вспоминается сон, который прервался на такой трагичной ноте. Жаль слонов. За что их так жестоко истязали? Неужели из-за того, что сначала я их испугался? Неужели моё подсознание пришло мне на помощь и попыталось защитить своего пугливого хозяина... если так, то... это очень грустно. Примесь к той перманентной грусти, с которой я живу уже очень давно. Она всё ширится, уплотняется. Обретает всё более реальные очертания и становится всё более твёрдой. Скоро она, эта грусть, станет поистине настоящей. Моей любовницей, надеюсь. И хоть мне с ней будет тяжело... однако же я надеюсь, что хоть она будет меня любить, ласкать ночами... утром, вечером. Когда мне только захочется. Скрасит мой досужий онанизм.

Ни идей, ни слов, ни амбиций уже, ни даже семени.

Что от меня осталось? Мёртвая грусть, выпачканная в вонючем эякуляте.

Что тут ещё можно сказать?

Только пройти в темноте к холодильнику. Взять оттуда холодной воды и промочить горло. Почувствовать хотя бы от этого мимолётное удовлетворение. По животу, груди растекается прохлада.

Возвращаюсь в постель. Надеюсь ещё уснуть. За окном ещё нет зачатков восхода, значит, у меня есть шанс выспаться.

Но в подобные сказки я перестал верить со времён детства.

Подумать только: мог ли подумать тогда, будучи школьником, что стану таким, кто я есть сейчас... тогда всё казалось таким статичным, неизменным. Как, собственно, и сейчас. Но прошлое уже отстоит довольно далеко. Поэтому и поражает. Сам не знаю, чем. Возможно, мне просто нечем заняться. Я сижу на диване, в темноте. Смотрю куда-то вперёд. Чувствую усталость, сонливость. Но спать не хочу.

Снова путаюсь. В себе. Событиях. В моём отношении ко всему происходящему. Столько слов. Столько их носится в голове. Как в толстой книжке Джойса – ничего не понять. Ничего не ясно. Но что-то тянет к этому неподъёмному тому. Берешь его в руки. Открываешь, с зачатком былого энтузиазма. Которого, однако, хватает ненадолго.

Порой так грустно. Где же ты, моя любимая грусть? Такая плотная. Реальная. Теплая. Ласковая. Неужели ты действительно задохнулась от этой отвратной атмосферы... и покинула меня. Оставила меня одного горевать по тебе... как же мне быть без твоей любви, без твоей нежности и без секса с тобой...

Чего сейчас уже не повторить.

... Открываю глаза. Рассвет.

Страшно смотреть на часы. Там может оказаться очень неприятный циферблат, который покажет мне безжалостно, что до звонка будильника осталась лишь минута или две. Очень угнетающая ситуация. В такие моменты, моменты общечеловеческого бытия, наступает тотальная обреченность.

Но на часах лишь пять утра. Значит, спать еще два часа. Вполне обнадеживающая картина.

Я спал? – вдруг мелькает мысль. Мне казалось, что после слонов уже не усну. Однако же удалось даже если и не увидеть сон, то хотя бы его ощутить. Нечто порнографическое. Приятное.

... Распахиваю глаза снова. Слезятся. И тут же сушатся.

Гляжу на экран телефона – прошло еще сорок минут.

Нужно заставить себя еще немного провести в каматозе. Хоть то и тяжело. В голове что-то пучится. Пенится. В горле сухо и булькает. Мое стремление сейчас – выжать все из

этих двух часов. Выспать из них все секунды до последней. Не оставить ни одной сволочи, которая бы не употребилась мне во благо.

В последнее время мой сон очень беспокоен. Какой-то рваный. Подолгу не могу уснуть. Часто просыпаюсь. И снова пытаюсь заставить мозг отключиться. И совсем не высыпаюсь. Весь последующий день хожу пришибленный, утомленный с самого момента пробуждения. С головокружением во всем теле. С головокружением, которое перетекает из головы вниз и распространяется по всем конечностям. Какая-то истома. Хоть и мягкая, даже приятная. Но дезориентирующая.

Внимание отключается. Нельзя ни на чем сосредоточиться.

Ворочаюсь с боку на бок. Идиотский кафкианский образ сонного отчаяния. Для пущей правдоподобности остается только превратиться в жука. Или юриста. Или землемера. Или полюбить свою прислугу и оставить в ее матке пару-тройку миллионов сперматозоидов, чтобы один из них развился в мерзотную личинку с моей сомнительной наследственностью и рожей.

Гляжу в потолок. На ум приходят свои же стихи. Которые и не стихи вовсе. А просто возникающие в пустующей башке слова.

Уснуть не могу.

Совсем.

Сердце колотится как бешеное.

Думаю постоянно.

Натужно думаю.

Что нахожусь в тупике.

Ложусь на спину.

Глаза в потолок синий.

И думаю.

Думаю.

О том, что не сплю.

Думаю.

Не помню дату.

И едва ли разбираю.

Границы.

Когда начинается и кончается этот продолжительный.

Длиною в более чем 60 000 слов.

Верлибр.

Не разбитый на стихи и строфы.

Кукла, символизирующая меня, сидит сейчас за столом и раскачивает головой в такт неспешному, тягучему блюзу. Сидит под лампой и ловит кайф. Кукла чревовещателя.

... Снова открываю глаза. Прошло еще двадцать минут. Шесть утра. Ровно.

Встаю с кровати. Волоски на теле поднимаются и тянутся к источнику тока в воздухе. За окном туманная взвесь. На окнах капельки конденсата. Из открытого окна тянет свежестью и дымом костров. Тополя раскачиваются. Они уже не завалены снегом. И слонов не видать. И никто по ним не стреляет. До чего же странный и неприятный сон. Но очень зрелищный и красочный. Каких давно не бывало.

За окном серо. Морозно и пасмурно. Собираются тяжелые сизые облака, которые скоро перерастут в тучи.

Пью воду. Реально обдумываю возможность утренней пробежки. Когда делал это в последний раз? Очень и очень давно – отвечаю на свой же вопрос, не дождавшись беспардонного выкрика из зрительного зала.

Когда-то нравился себе. Стремился к красивой фигуре. Хотел себе рельефный пресс и пытался что-то с собой сделать, усовершенствовать. Чтобы нравиться девочкам. Но главное – нравиться себе. Будто б собрался на себя драть... И сейчас, снова увидев себя в утренних сумерках в зеркале, вглядываюсь в глаза, в тело, в кожу и голову, в силуэт. И

пытаюсь понять, кто я и что. Зачем здесь. Пытаюсь тщетно разрешить экзистенциальный вопрос, на который сами экзистенциалисты с самого начала забили и объявили его просто бессмысленным...

Отличная позиция. Наверное, самая разумная и эргономичная. Релятивизм все-таки отличная вещь. Экономит массу времени. Сил и нервов. Но все равно никоим образом... хм... как все же странно – смотреть на себя в зеркало, пытаться что-то отыскать в себе, мучиться чем-то, но так и не найти то, что искал, и то, что глодало, как паразит. Так и уйти ни с чем и готовить завтрак. Хотя отродясь не готовил себе завтраки. Да и мама в какой-то момент бросила это для меня делать, наконец смирившись с моим пристрастием ничего не есть по утрам, кроме сладостей. Но порой даже сладости отвратны. В горло ничто не лезет. Все противно и мерзко. Как сама действительность... боже, деградировал уже настолько, что несу всякую пошлую околесицу о тщетности бытия, как какой-нибудь вшивый декадент 21 века, начитавшийся Уайльда, Ницше, Кастанеды, Пелевина и Бегбедера и в один миг возомнивший себя дофига циничным снобом – критиком, комиком и новатором-кокаином. Который, однако, не научился мыслить вне клише. Челюсть склеилась. Кости срослись в черепе намертво. Рот не открыть. Одна дорога – подохнуть и радоваться. Танцевать чечетку, как озорная анимашка на чьей-то свежевырытой могиле. И проваливаться новыми, дорогими, вычищенными не знамо зачем (они ж новые) туфлями в мягкую, неутрамбованную землю. Достигать ногами труп, ломать ему кости своим оголтелым танцем, перед этим перемолов в труху сам его милый гробик.

Пью воду. Чешу мошонку. Снова пользую тестикулы и пенис как четки. И это реально успокаивает. Обнюхивать затем свои пальцы, смазанные характерным, обширным, пряным и многоликим запахом. И чувствовать свою идентичность.

Ставлю воду обратно в холодильник.

За окном заметно светлеет. Из-за облаков выступают яркие лучи солнца. На улице наступает неповторимый короткий период хрустального утра. Который скоро кончится. И вслед ему придет убогий хоровод чьих-то мосек.

Позвать бы сюда героя «Заводного апельсина», чтоб было кому втоптать их физиономии в асфальт под аккомпанемент Людвиг Ванна.

Я медленно одеваюсь. Тело такое ломкое. Неподатливое. Впихиваю свои потные конечности и ступки в неприятную, плотную, хрусткую ткань. Причесываю свои сухие, выключенные волосы. Раздираю башку расчёской. Потом соскребаю выдранные волоски с зубцов, валяю из них мерзотный комочек и отправляю в мусорное ведро. Ладони вспотели. Лоб покрылся испариной. В горле пот. Всюду пот. Всё это время смотрю на себя в зеркало. Даже когда повернут от него, пытаюсь взглянуть на себя ежесекундно. Не могу удержаться от этого притягательного куска стекла, где весь я. Такой отвратительный. Такой прекрасный. Невыносимый. Омерзительный. Плаксивый. Глупый. Мнительный. Обидчивый. Слабый. Неуравновешенный. Непокойный. Неуверенный. Скромный. Робкий. Пугливый. Слабый. Грубый. Вспыльчивый. Мягкотелый. Скользкий. Подлый. Лживый. Но такой обаятельный и влекущий...

С эпитетами в шлейфе иду по коридору. Зашнуровав кеды. Втиснув в них свои распухшие стопы. Мозолистые подошвы. Неухоженные пальцы в кутикулах и наростах. Закрыв дверь комнаты.

Спускаюсь в лифте. С ощущением комка в горле. Прилагаю усилия, чтобы дышать. Воздух с трудом просачивается в лёгкие.

Иду по безлюдной улице. Воображая, будто вокруг произошел очистительный апокалипсис и вся грязь канула в Лету и больше не появится. И мне больше не будет тошно от их дыхания. Не станет больно и обидно за используемый ими воздух. Все так тихо и безмятежно. Нет людей. Совершенно. Машины не шумят. Только воздух. Влажный, пропаренный и холодный одновременно тушит мою злобную изжогу.

Следую до импровизированного старта, чтобы начать свое самосовершенствование. И, разумеется, в голове одна мысль. Этакая прустовская рекламная концепция упадка и

разочарования для таргет-групп. В купе с осознанием своей значимости и немыслимого величия. «Немыслимого» – в значении «невозможный», «абсурдный», «неправдоподобный», «напускной», «выдуманный». Ремарка для тупых и меня.

... *Вдруг почувствовать раж. Вставить в рот зубочистку и ощутить себя потрясающим литератором. Это ли не счастье? – заметить процесс словотворчества у Джойса и проникнуться любовью к нему и себе. Бесконечная череда отсылок и толстый-претолстый, внушительных размеров цитатник всемирной изоциренности.*

Теплота внутри разливается Вальтерскоттным аккуратненьким нетоталитарным двориком, где всюду тишь да гладь. И всё от одной той мысли о моих прошлых пробежках. Мне не довелось читать монологи Мурками по поводу его бега и мыслей во время него. Но что-то мне подсказывает, что мы были бы неплохими камертонами, обретшими друг с другом гармонию.

Воспоминания – мое достояние. Какими бы они ни были. Мысль не новая. Как, впрочем, и тезис о том, что ЖИВ. Дуглас тоже не придумывал это сам и тоже не был первооткрывателем. Да и зачем мне нужны эти жалкие отговорки, будто сама литература пытается оправдаться в самоповторе. В своем пресловутом отрицании отрицания, которое и так уже десять раз опровергли ценители жанра и его ниспровергатели.

Мне просто хорошо от моих старых былых лет. Все, что от меня отстоит, мне стало дорого. Наверное, еще и потому, что это расстояние стало безопасным. На такой дистанции я уже недосягаем. До меня не дотянуться.

... Бег. А я все не прекращу эту разрушительную *авлакасавласавлу*. Я хочу потребовать у верховного божества Горящих Кустарников огурец. Но не помню знаменитой священной мантры. Одна лишь в мозг запряталась. Айм э соулджа. Айм э соул, джа. Тэ, прокляни меня напоследок, чтобы в моей голове перестали тасоваться эти микроскопические монады.

Все летние пробежки прошлого слиты у меня в памяти в один сплошной массив удовольствия. Я бегал перед работой. Когда был еще школьником. Когда на летних каникулах мама отправила меня работать на промышленное предприятие. Там я подметал улицу и высаживал растения. Я вставал в пять утра и, заспанный, мертвopodobный, брел на серую стеклянную улицу, чтобы стимулировать свои механизмы радости. Я бегал. Под музыку, мечтательную, космическую. А потом шел обратно домой, умиловивленный, чтобы забить рот едой, которую едва ли мог себя заставить проглотить, почти не пережеванную. Я умывал лицо. Брал пустую сумку и бежал к железнодорожным путям, чтобы наспиговать ее красивыми голубоватыми камнями, которыми была усыпана рельсовая колея. И всё ради того, чтобы сделать клумбу, где бы среди цветов вилась каменная мозаика.

Я набивал рюкзак до отказа. Взваливал свою ношу, резавшую спину, на плечи, и с трудом шагал в сторону завода, где с сильно бьющимся сердцем подходил к пропускному пункту, с испариной на лбу. И пристально глядел перед собой. Едва переставлял уставшие ноги, под грузом я пытался придать себе непринужденный вид. Однако то, что меня ни разу не попросили показать содержимое моей уберобъемной поклажи, говорит о моих незаурядных актерских дарованиях. Или же о чудовищной некомпетентности охранного персонала. Порой мне было очень жаль, что я не есть завербованный террористами смертник, который в рюкзаке своем проносит через турникет водородную бомбу, чтобы разнести там все к чертовой матери. Они бы наконец поняли свою оплошность и, возможно, пересмотрели свои взгляды на жизнь и стали почитателями Сиддхартхи «Будды» Гаутамы или же на худой конец просто пастафарианцами. Но в таком случае им бы уже попросту нечем было пересматривать эти самые взгляды. Фарш не имеет мировоззрения.

Я проходил мимо них. Шел на свое рабочее место, в цех № 7, специализирующийся на деревообработке. Вываливал на заднем дворе свои замечательные камни и шел делать обычные утренние дела: мести территорию, получая в какой-то степени эстетическое

удовольствие от вида убранных в аккуратные кучки опилок. А затем всецело посвящал себя цветам. И своим каменным садам. Которые все равно не вышли такими, какими мне когда-то представлялись. Вьющимися этакой каменной волной среди ярких растений. Потом я все разрушил, даже и не достроив свои долгие художества. Все были разочарованы. Я. Моя начальница. Ее коллеги. Мастера и простые рабочие. Им нравилось то, что я делал. Им доставляло удовольствие то, что когда-нибудь сделаю. Но тому не было суждено быть законченным. Какая дурацкая конструкция. В обоих случаях...

Еще одно разочарование в копилку к уже имеющимся там.

В скопище мыслей забыл проследить свое начало. Очнулся лишь на втором повороте, когда позади себя оставил торговый центр и еще пару магазинчиков, еще закрытых белыми решетками. Гуляют одни дворники. Тут один. Там. Создает атмосферу предчувствия.

Один круг. Два. Меня приятно удивляет остаточная выносливость.

В ногах жестко трамбуется мясо. В уши льется нещадно электронная мясорубка, голова неумолимо фаршируется звуковым ланчем. Жует его и, не дожевав, глотает, требует добавки, которая, впрочем, не дожидается приглашения. Легкие полнятся газом. В них булькает жжение. Точно я не бегу, а пытаюсь повторно, рукотворно, себя удовлетворить без передышки. Вдохну, и не полностью выдохну, и снова вдохну, сминая старую порцию под натиском новой. И так раз за разом. Пока внизу, в диафрагме, не становится жутко, точно перед приступом рвоты. Я чувю, что этот круг последний. И единственное, на что в этом случае я способен, – это через силу дожать последние метры.

В этот раз меня хотя бы не беспокоила надоедливая сопля, которая бы норовила вылететь из ноздри. Но все никак не могла бы разродиться в этой своей протестной инициативе. Ее то выгонял из носа воздух, то снова ее внутрь всасывал. Нос качал воздух. Вместе с тем бессовестно терроризируя ту соплю. Ртом дышать я не хотел. Боялся раньше времени выбиться из сил. Поэтому просто психанул и высморкался в ладонь. Вытер ее о джинсы и спокойно продолжил бег. Когда это было? Два года назад. Или больше? Три. Четыре. Еще в школе. Как все теперь далеко отстоит. В пору задуматься об обретении своего времени. Но все никак не случится повода, чтобы этак продуктивно для воображения начать подниматься с кресла и прожить свою жизнь единым семитомным мгновением. Увы, я не столь подвержен реминисценциям.

Набралось ли моих мыслей на хотя бы главу из книги о моем беге? Или же я еще не дорос до статуса вполне приличного японского романиста? Который пишет все одну и ту же книгу, но, как заштатный копирайтер, просто подбирает слова и занимается переписыванием старья. Переработка литературного вторсырья – это ли не гармония с самим собой? Если это вторсырье – твои начальные опыты...

Я выдыхаюсь. А бежать остается еще целую четверть. Сфинктер перестал слушаться – моя давняя проблема при затяжном беге. Он просто расслабляется. И из тебя беспрепятственно может выпасть все говно. Как же все-таки страшно. Казалось бы, ничего смертельного... но в условиях светского гуманизма – главный страх человечества – прилюдно *обосраться*. В прямом и переносном смысле. Бич поколений.

Страшные сказки на ночь. О расслабленном сфинктере и дерьме в штанах.

Обосраться на людях – своего рода протест. Настоящий плевок в лицо общественному вкусу. Почему же футуристы не додумались до этого? Или же додумались, а я просто не знаю? Уверен, битники рассматривали такой вариант развития своего художественного метода. Берроуз уж точно; – перфоманс, идеальный для нонконформиста.

Господи, мой создатель, мой приятель, мой оккупант, мой любимый собеседник и пёс, мой лучезарный любовник, мой лучший друг и спаситель, моё сущее, моё приятное, моё возлюбленное, моё душераздирающее паломничество, спаси меня, Отче, спаси от веры в тебя, спаси от червя по имени «Ты», спаси от образа и кавалькады тебя в других религиях, спаси от Аллаха, спаси от Зевеса, Юпитера и макаронного монстра, спаси меня,

высший разум, великий первичный алгоритм, спаси меня, посредством своих пророков, Магомета и Линкольна Снуп Мазафаки, спаси любыми методами, мне потребны любые средства, даруй мне покой от тебя, о великая долгоиграющая коллективная фантазия, если ты есть, я обращаюсь к тебе, о всемогущий, я взываю к тебе – очисти мир от скверны, мир достаточно страдал и я вместе с ним, избавь нас от своего присутствия, тебя умертвил Ницше, так стоит же уже наконец убрать свой хладный, уже изгнивший труп с мостовой, поеденный червями, собаками и людьми, уже испарилась вонь, уже испарилось твое гнетущее присутствие, уже испарилась остаточная скорбь, посеи в нас равнодушие и разум. Не в этом ли милосердие божие...

Отче Наш 21 века...

Добегаю до своего финиша, который тремя кругами ранее побывал стартом, замыкаю герменевтический круг своими отяжелевшими кедами. Сворачиваю на детскую площадку, бегу на месте еще какое-то время. Останавливаюсь и валюсь, истерзанный, на качели. Покачиваюсь. Ногой немного помогаю колебать мое тело в пространстве и времени. Пытаюсь отдышаться. А в груди – два вспухших пузыря отрицания. Изо рта вываливаются комья клейстерной вспененности. Всё же нужно почитать Брехта. И наконец определиться с остранением. Иначе гулять впотьмах придется до скончания века. Что такое кошка? И как ее представить изначально не как кошку, а как что-то некошачье и никоим образом не напоминающее что-то котообразное...

Слюна такая вязкая. Уметь бы еще писать не затянута. Коротко. Как Паланик. Или как литературный полицейский алгоритм старика Достоевского. И возможно вышло бы что-то гораздо более годное, нежели то, что уже есть. Даже и перечитывать это страшно. Да и зачем. О продолжении всего этого даже и думать не стоит. Достичь ли смыслов. Чтобы снова ощутить осознанность действий в отношении этих отрывков. Перечитать. Понять в очередной раз, что всё не то и не так, и забыть опять на бесконечно короткое время о старых текстах. Вернуться к ним спустя небезызвестно малый промежуток. И повторить отработанный ход шестерней.

И так и не сдвинуться с места. Сажу на качелях. Жду Году. А его всё нет и нет. Глотаю слюну. Которая не глотается совершенно. Плюну. Раз. Другой. Выхаркаю остатки из горла и носа. Исплююсь нещадно. Загажу близкие пространства. И останусь доволен. Нанесенным микро-ущербом.

Как бы не провалиться в сплошное стихотворчество. Как бы не стать раздвоенным. Вспомнить бы то, что виднеется сверху. Уже такой промежуток, такой длинный, уже едва ли можно разглядеть начало. Едва ли можно хоть что-то вспомнить, дабы текст не разваливался на части. Найти бы в мозгах такое клеящее вещество, которое бы хоть на минуту связало весь этот массив во что-то хоть сколько-нибудь оформленное. А пока – спустя столько месяцев, вдохнув воздуха, нужно собраться, сосредоточить память, внимание и пальцы. И вывести в продолжение логическую линию.

Боже мой сакральный Богомол

боже мой возжигатель кустов

воистину и во все времена

на небе и земле

в реальности и в виртуальном пространстве

шестикрылая многоножка

сладокрастная кариатида

воткни мне в мозги свои электроды, подцепи мои извилины палочками для поедания моллюсков, дай искушать огурца, дай откусить мухомора, дай обглодать достоевский или набоков хребет, дай обсосать с их кривых косточек сала, дай мне силы – Лунная ПРИЗМА –

поцелуй меня, Такседомаск! Где же мои прославленные чиби-помощники? Где мои карманные монстры? Где мои Пикачу и Мью? Где мои Кавабаты? Где мои

безымянные почтальоны, где же мои святые Савлы во свете и блеске, точно херувимные сонмы, восстанут пред мои очи они и скажут – пиши.

Сорвут с плеч головы и в глубоком поклоне, в книксене и с дифирамбами, прилизанные, скажут – здравствуй, наш Отче, которого мы так ненавидим и чтим, мы к тебе с челобитной пришли, просить тебя исплевать нам наши рожи, исчеркать нам наши спины плетью соленой-резиновой, излюбить наши орала и анусы тугие, избить тела наши, изжевать мякоть нашу, искромсать фигуры наши, излизать кожу нашу и муде скукоженные,

расправить их тебе нужно, разгладить, возлюбить и обласкать, научить их оплодотворять тела дев сладких, тела мужей неподатливых, тела дитятей плаксивых, тела живности – птиц, дичи и гадости мелкой летающей-ползучей, научи нас, отче,

научи, мразь мира сего, научи выродок из выроdkов, самый мерзотный и отталкивающий, аморфное нечто, урод из уродов, тварь дрожащая, права не имеющая, падаль обглоданная, слизь мирская, протухший бытийный эякулят, онтологическая гниль, гноище вселенское, гнида трескучая, дай возопить нам хоралом отверженной толпы дебилов, дай заорать нашему сплоченному маргинальному рупору, дай оголосить сонный городишко нашим пагубным призывом, дай нашим мозгам пролиться и запачкать мостовые, улицы и людей, дай запачкать нашими вонючими парными потрошками лица ребятни, дай попасть им в рты, дай попасть им в глаза и ослепить их милые мордашки, дай заразить их тлетворной скверной, дай их обесчестить, дай их разорвать в клочья, дай надругаться над ними, дай нам сделать их психопатами, позволь нам нанести им душевную травму, дай нам поиздеваться над ними, хоть над кем, но позволь нам излить свои порывы, позволь нам высказаться, расчисти площадку для нашего незабываемого представления, пусть это будет наш прощальный выход... Пусть это будет наш эпохальный пророческий сай-фай. Пусть это будет наш гремучий сем-пай. Или наш пелевинский жирнющий крим-пай! Во весь голос. Надрывая связки. Ты да я. Слышишь меня? Пишешь меня?

Душишь меня?

Любишь меня?

Видишь меня?

Чувствуешь?

Боготворишь?

Хвалишь?

Милуешь?

Ластишься ко мне?

Песни поешь мне?

Бьешь меня и унижаешь?

Сминаешь мои бока своими объятиями?

Грызешь мои губы целуя?

Высасываешь мой язык целуя?

Выдираешь мои гланды целуя?

Выхаркиваешь свою мокроту мне в рот?

Заставляешь заткнуться и совсем не уважаешь. Пытаешься не замечать. Давишь и выдавливаешь. А я все есть и есть. И ничего со мной не делается. Только больно очень. Обидно очень. А тебе и дела нет до этого. Отче мой. Любовник мой. Палач и мессия. Свет мой. Любовь моя. Чаровник мой. Кумир, властитель дум моих. Вседержитель. Истязатель. Изувер.

В молитве замираю. Держусь из последних сил. Веки сомкнуты. Ноги мои – две синусоиды. Руки мои – мои ноги. Голова моя – большая красная жаба. Жаба моя – большая красная голова моя жаба...

Не отрекайся от меня, мудрый жук. Не отталкивай меня, прошу. Я уверую в тебя, я уповаю на твою поддержку. Я твой верный адепт. Твой верный послушник. Исцели меня

от предрассудков. Подари свет истины. Или ударь за такое кощунство. Избей меня за тупость и неприлежание. Избей до полусмерти или и вовсе убей. Я плохой воспитанник. Я плохой певец твоих заслуг. Избави меня от мрака... ввергни во свет.

... Поднять глаза в небо. Голова закружится. Купол неба над Аустерлицем закрутится волчком и рухнет мне на лоб чьим-то плевком с балкона. Или голубиным пометом. Ни романтики, ни героизма. Одна сплошная чушь. Сплошная литературная вкусовщина минувшего кислотного мракобесия...

Стереть со лба мерзкую осклизлую фантазию. Сердце успокоить. Сказать, что плевков и помет был всего лишь праздной ложью. Но столь достоверной. Стереть со лба жирный пот. Отереть ладонь о взмокшие джинсы. Лоб чешется. Голова под мокрыми волосами чешется. На ней копошатся вши, черви и гусеницы, Замзы тут и там трут свои хитиновые членики друг об дружку и поглощают мою вкусную перхоть.

Качнуться еще раз-другой на качелях. Вдохнуть прохладу обсоплевленными ноздрями. Спрыгнуть с качелей.

От приземления боль растрескается по всему телу. Тело совсем не пружинит, не амортизирует удар о землю. Втыкаюсь колышком в поверхность – и суставы в ногах отзываются на это ломотой и хрустом. Спина вскрикивает напряжением, оглашает им весь мой головной вокабуляр. Дыхание замирает в нехорошем предчувствии.

Какие-то доли секунды не могу вздохнуть. Кажется, будто переломал все нутро. Но совершаю шаг. За ним второй. Прохаживаюсь. Разминаю спину, колени. Верчу шеей из стороны в сторону и, вроде, легчает.

Подмышки мокрые. Весь какой-то неприятный, чешущийся и липкий.

В голове тяжесть. Нет настроения продолжать исхудалые бредни. Перед глазами – только сумбурная роковая принужденность: прийти домой, переодеться, вымыться, мчаться в паноптикум, пахнувший галантереей, и снова усесться в кресло за написание очередного текстового отребья, отсчитывая свои корпоративные плюсики под жужжание мух.

среди мух...

Многие же, уверен, тупили в пустоту. По-умному – прокрастинировали. По-экзистенциальному – тупили. По-еще-какому-нибудь – тратили время на что-то невразумительное. Как я, например, сейчас – засираю пространство. Собой и своим семиотическим шлаком.

Гоголь делал это в дружеской переписке. Пелевин – в пятой империи. Сорокин – в медвежьей горе. А Достоевский – в карманных поисках.

В постмодернистский текст вполне себе органично может закрасться и такое хитросплетение идиотической тарабарщины, как это бывало даже и в «Улиссе». Одно слово – поэзия. Одно слово – игра. Одно слово – классики. Одно слово – модель для сборки. Хотя их и три уже. Но коль скоро нет стоящей мысли, то и форма уже не важна особо-то. Назовем это «методом нарезки-2» и продадим под авторством супер-мега-пупырчатого-мозга. В очках, в морщинах и с оголенным фаллосом наперевес.

Уютный здесь дворик. Даже и жаль уходить. Хотелось бы остаться. Дождаться ребятни и поиграть с ними в их игры, как делал это столько лет назад. Плакал ли порой Брэдбери по ушедшим годам в момент своих писательских винно-космических опытов... Дождаться бы кого-нибудь, у кого бы имелся мяч. Поиграть бы с этим кем-то. Попинать бы его мяч в стену, пооглашать бы спящий квартал раскатистыми громовыми ударами. Покричать бы с этим кем-то. Побегать бы и посмеяться. Подавить бы жуков и полазить бы по гаражам. Пожариться бы под солнцем, поцеловаться бы по указке вертящейся бутылки, пообниматься, поисцарапаться бы о ветки, пока лезешь на дерево. Поскучать бы с этим кем-то, в момент когда кто-то из компании уходит домой обедать. Понадеяться бы с этим верным кем-то на то, что этот кто-то третий, ушедший обедать, вынесет чего-нибудь и нам поест. Напотеться бы. Набегаться бы. Мороженого бы дешевого нализаться. Нажеваться бы дубовой химозно-сладкой жвачки и налепиться бы наклейками.

Нахотеться бы в туалет. И написать бы за углом, озираясь по сторонам, дабы никто не увидел твой источающий теплую влагу маленький член. Нападаться бы. Изорвать бы колени. Истечься бы кровью из них. Исчувствоваться бы этим приятным жжением в ране, этой пульсацией. Нарваться бы листьев с берез, дабы остановить кровь. Испылиться бы. Изгрязниться бы. Изжиться бы жадно, испиться бы этой детской суетности. Ископаться бы в песке. Искупаться бы в нем. Наораться бы песен на качелях. Наораться бы просто. Наораться бы всласть.

... Ветер высушивает пот на лбу. Кожа стягивается. Череп обернут тугой латексной шапочкой. От детской сентиментальности жмет в груди. Еще чуть-чуть и стошнит радугой.

Можно ли влюбиться в творчество Уильяма Берроуза? Можно ли запоем перечесть его «Интерзону», «Голый завтрак», «Джанки», «Нову Экспресс» и не устать от метода? «Мягкую машину»? «Билет, который лопнул»? Не почувствовать усталость в глазах и сознании? Можно ли не утомиться этаким хоть и гениальным, но однообразием? «Пристань святых»?

Вклад Берроуза в литературу непререкаем. Вклад в культуру безусловен. Есть ли в его творчестве хоть толика эстетизма?

Есть. Для особых ценителей арт-хаусного нарратива.

Но можно ли стать поклонником его творчества? Перед его выплеском. Перед его выбросом. Перед его блевотиной, растекшейся по стольким томам – можно лишь преклониться. Но не проникнуться яростным обожанием.

Или, быть может, это я – просто тупой обыватель, не способный понять величия того послания, которое было закодировано в наркотическом потоке.

Предоставил бы мне Лучезарный Случай-Богомол жену, после убийства которой во мне бы растекся писательский бальзам и я бы проснулся пусть вторым, пусть третьим, пусть сто девяносто восьмым, но Уильямом Берроузом...

Однако ни жены. Ни стакана на ее макушке. Ни револьвера в руке. Ни опьянения. Только ветер сушит мне кожу. Да голова продолжает чесаться от соли, скопившейся в железах.

Отключить бы хоть на час в голове процесс самосознания да прислушаться к тишине. Поспать бы в этой тишине. Где не жужжит электричество. Где не пищит насекомое. Где нет постоянного, герменевтического, лихорадочного оглядывания по сторонам. А только сладкое посапывание собственного себя. Милого себе и себе. То есть милого всем.

Дышится трудно. В носу комок. Под самыми глазами. Ни высморкать его, ни выдрать ногтями. Ничем не подлезть. Приходится мучиться, уживаться с этим камешком в ботинке. Горло как всегда забито нечистотами из пазух. По позвоночнику скачет ломота. По коленям скачет слабость. По голове распространяется сонливый сумбур. Слизистая на глазах высушивается, сколько ни моргай. Идиллическое состояние после утренней бесполезной пробежки, которая едва ли поспособствует тонусу организма или его совершенствованию, нещадно кончилось. Только околблеванное состояние подступает с каждой секундой все ближе да приступ ностальгии поджидает за каждым поворотом шеи.

Небо все розовится. Голубеет. Так все ярко. Так все многообещающе. Застыло в предвкушении разочарования.

Доковылять бы до дома. Донести бы свое тело до кровати и упасть. Укутаться в густую истому и проспаться бы до ночи. А потом проснуться. Улицезреть ночь за окнами и обрадоваться своей раздолбайской свободе. Полистать каналы по телевизору, пощелкать самого себя, успокоив нервы пелевинской медитацией.

Не могу пройти мимо турника. Вскарabкиваюсь на него. Едва выжимаю из себя с потужными рывками два раза и сваливаюсь вниз, униженный и оскорбленный. Окончательно выжатый. В ушах застряла трещотка, кажется, что сейчас разорвет башку к

чертовой матери. Всё-таки последнее моё геройство было лишним. Как для отдельного индивида, так и для Вселенной...

Возвращаюсь домой по утратившей дружелюбие улице. Внутри прохаживается генерал Почин и тешится своею важностью. Он еще не знает, что совсем скоро, буквально «прямо сейчас», его застрелит коварный агрессор по имени Лень. Или, быть может, этого деструктора стоит назвать «разочарованием». *(Не оправдал ожиданий)* – подпись Идальго-Дон-Кихот-Ламанчский-Энтони-Уэбстер-я. В основном своих.

(2017-2018)